



ГЛАВА ПЯТАЯ

Кончина Сократа

1. Сократ достиг высокого предела старости,* когда туча, долго угрожавшая ему, разразилась над его головой. Глубокая неприязнь и злобствующее недоверие постепенно скоплялись в душах его сограждан, пока, наконец, не последовал взрыв, приведший к трагическому событию, записанному в летописях человеческой культуры. Вынести справедливый приговор об этом столкновении благородного народа с одним из благороднейших его сынов — дело щекотливое. Мы постараемся заставить говорить факты, а затем вполне беспристрастно оценим их свидетельства.

Наши читатели достаточно хорошо знают о нерасположении среднего афинянина ко всякого рода просветителям, назывались ли они «софистами» или «исследователями неба». Сократа не только не отделяли от других представителей этого класса, но он считался типичным их образцом. Об этом свидетельствуют те, кто лучше всего знали общественное мнение и наиболее на него влияли, — авторы комедий. Мы уже познакомились с некоторыми из их изречений, полных презрения и ненависти; нет надобности их перечислять. Тот самый Эвполид,** который дал в «Льстецах» карикатуру так называемых софистов, не щадит и Сократа и ставит его на одну доску с Протагором. Он одинаково насмеяется над обоими за то, что они размышляют над величайшими предметами и не пренебрегают самым низким для удовлетворения своих жизненных потребностей. О Протагоре он говорит, что тот исследует область небес и в

то же время достает себе пищу из отбросов, о Сократе же, что на одном пиру он украл ковш. И это были не отдельные авторы комедий. Количество и разнообразие случайно сохранившихся выражений очень велико. Рядом с Эвполидом можно назвать Телеклеиду, Амипсию, Аристофана.* Первому Сократ ненавистен как помощник Еврипида, драмы которого так часто оскорбляли народное чувство, того Еврипида, в доме которого читалась книга Протагора о богах. Для Амипсия он «лучший среди немногих, самый глупый среди многих, размышляющий обо всем, только не о том, как достать себе новый плащ». В той же комедии, названной по имени Конна, учителя музыки Сократа,** хор состоял из «мыслителей», или «умствователей». Нам вспоминаются «Облака» Аристофана, этот ядовитый пасквиль (поставленный на сцену в 423 г.), героем которого является Сократ не только в образе противного неумытого бродяги и сотрудника вредного искусства Еврипида, как позднее в «Птицах» (414) и в «Лягушках» (405). Здесь «фабрика мыслителей» есть месторождение всякой праздной мысли, всякой свободомыслящей ереси, всякой нечестивой гордости юношества, всех способов надувательства и подкупа. Ввиду таких злостных нападений можно только удивляться, что Сократ мог спокойно продолжать жить и действовать еще четверть века в том городе, где свобода учения и мнения не были принципиально признаны. Мы видим, таким образом, что в укладе мысли и жизни перикловой эпохи уже образовался противовес наследственной склонности к нетерпимости и к расправе, допускаемой существующими законами. Мы должны предположить, что были особые обстоятельства, которые раздули в яркое пламя долго тлевшие искры. Эти обстоятельства найти нетрудно.

Пелопоннесская война закончилась глубоким падением Афин.*** К унижению внешним врагом присоединилось ослабление от ожесточенной гражданской войны. В последней победителем остался демос (403 г. до Р. Х.).**** Однако государ-

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

** О Конне см.: Платон. Менексен 235e; Евтидем 272c; 295d. (Прим. ред.)

*** В 404 г. до н. э. (Прим. ред.)

**** В этом году демократы под предводительством Фрасибула свергли олигархию, установленную спартанцами в Афинах. (Прим. ред.)

* Семидесяти лет.

** См. прим. и доб. Т. Гомперца. Эвполид — афинянин, автор комедий, которые ставились между 429 и 412 гг. до н. э. (Прим. ред.)

ство было сильно потрясено; сравнение настоящего с прошлым ясно представлялось каждому и наполняло все сердца горечью. Нельзя было не искать причин этой губельной перемены и не извлечь поучения из этого наблюдения.

Нам кажется, что мы слышим мрачный голос престарелого афинянина, который обращается к приятелю-чужеземцу, неожиданно появившемуся на рынке, со следующими словами: «Ты не узнаешь Афин? Улицы и гавань пусты! Что в этом удивительного? Наши поражения, потеря флота, потеря колоний и дани сделали нас бедным народом, бедным и надеждами. Хочешь посмотреть на веселые лица, отправляйся в Спарту. Правда, наша гордая победительница полна смирения перед властителями судьбы и их священными установлениями. Зевс там не лишен своего трона; он не уступил места „королю-вихрю“, * о котором так много говорят наши небесные умники и софисты. Если бы там появились подобные негодяи, их бы очень скоро убрали при посредстве обычного „изгнания чужеземцев“. У нас другое дело! Как заносчиво наше юношество! Где его благочестивый страх? Во всем этом виноваты новомодные учителя мудрости. Уже четверть века назад на Анаксагора пало обвинение в безбожии, и он стал изгнанником. То же самое и с Протагором. Но самый плохой еще среди нас; старый Сократ все еще носит свою шкуру, хотя честный Аристофан обнаружил его сущность уже больше двадцати лет тому назад. А как он зазнался теперь! Недавно царь Архелай пригласил его вместе с нашими лучшими поэтами к македонскому двору; ** его гордая скромность не позволила ему принять эту честь. Юноши-чужестранцы из Мегар, из Фив, даже из дальней Кирены пришли сюда к нам, чтобы учиться у него! У него учиться! Хотя он не хочет, чтобы его считали учителем юношества, или софистом, но это различие слишком тонко для нашего понимания. В грязном своем домишке он читает собравшимся у него ученикам пожелтевшие свитки и объясняет им по-своему поэтов и софистов. Живет он главным образом дарами своих

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

** См. прим. и доб. Т. Гомперца. Не путать с Архелаем-физиком, учеником Анаксагора и учителем Сократа, о котором см.: Диоген Лаэртский II 16—17. (Прим. ред.)

богатых „друзей“ и „товарищей“.* Он хвалится, что не делает различия между богатыми и бедными и что готов помогать и тем и другим в равной мере; на это я ему скажу: „Тем хуже! Другие софисты раздают свои дары за высокое вознаграждение; ты же рассеиваешь их даром“. Хорошо еще, если бы он не занимался ничем другим, кроме пустых мудрствований, над которыми мы смеялись во все горло, когда смотрели на аристофановы „Облака“. Хорошо, если бы он измерял длину прыжка блохи ее длиной, когда она с густых бровей его достойного друга, „летучей мыши“ Херефонта,** прыгает на его собственную лысину. Но он делал вещи похуже. Он позволял юношам бить и связывать своих „неразумных“ отцов. Он колебал веру в богов. Поговори с сыном фракиянки, незаконнорожденным Антисфеном, или с киренцем Аристиппом, и ты скоро узнаешь, что Афина, высокая покровительница нашего города, для них только имя, пустой образ. Одни из этих воспитанников мудрости не верят ни в каких богов, другие в одного-единственного среди них. Кто знает, может быть потворство такому святотатству возбудило гнев нашей властительницы и причинило наши поражения!

Ты сомневаешься, чтобы словесный герой мог быть причиной таких бедствий? Это вполне возможно. Его тонкое искусство диалектики притягивает наилучшие молодые головы, как лидийский камень*** железные опилки. Он отдаляет их от религии, делает их врагами государства. Ты думаешь, я преувеличиваю. Но слушай не меня, а посмотри на факты. В течение долгой войны нас постигло величайшее несчастье при безумной попытке завоевать Сиракузы и покорить Сицилию. А кто виноват в этой сумасбродной попытке, за которую мы заплатили потерей тысячи наших лучших граждан?**** Не кто другой,

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

** Херефонт — друг и почитатель Сократа, который, по свидетельству Диогена Лаэртского, получил оракул Дельфийской пифии: «Сократ превыше всех своей мудростью» (II 37; Платон, Апология Сократа 20e—21a). (Прим. ред.)

*** Магнит.

**** Имеется в виду эпизод Пелопоннесской войны, неудачный морской поход афинян 415—413 гг. до н. э. против Сиракуз, выступивших на стороне Спарты, в котором афиняне потеряли 40-тысячную армию (Фукидид. История VI—VII). (Прим. ред.)

как «прекрасный сын Клиния» (как его обыкновенно называет его почитатель Сократ), который вопреки всем отговорам мудрого и благочестивого Никия соблазнил народ, тот самый любимый ученик его Алкивиад, который участвовал и в святотатственном обезображении герм,* и в осмеянии мистерий и, в конце концов, из Спарты вел интриги против родного города. И этого еще мало. Как Алкивиад уничтожил наше государство на море, так Критий разрушил внутренний мир нашего города.** Правда, он не был бездарен! Но на что же он направил свои таланты? В своей трагедии „Сизиф“, которая не могла появиться на сцене, но которая ходит по рукам в многочисленных списках, веру в богов он называл выдумкой древних мудрецов. К этому учению подходила и его жизнь. Он был худшим врагом народа. Уже будучи изгнанником, он возбудил фессалийских крестьян против их господ. А когда он снова возвратился к нам, как бесчинствовал он со своей свитой! И опять я спрошу: откуда почерпнули Критий и его присные свои принципы? Все они были „товарищами“ Сократа. Но могилы его и его племянника Хармида уже поросли травой. Бог с ними. Но не забудь его внучатого племянника, юного Платона, который тоже любимец софиста и тоже расточает речи против нашего устройства и против демоса. Еще недавно я слышал, как он возвещал удивительную вещь: не будет лучше, пока философы не станут правителями или правители не станут философами. Может быть, он тоже когда-нибудь отправится в чужие страны, как его сотоварищ, сын всадника Грила. Ты слышал, вероятно, что Ксенофонт вместо того чтобы служить родному городу, предпочел отправиться в Азию к Киру, претенденту на персидский престол, который выказал себя ревностным покровителем наших врагов, лакедемонян. А кто, думаешь ты, побудил его спросить совета у оракула в Дельфах и с позволения последнего перейти к врагам нашей страны? Не кто иной, как его интимный друг, всегда сардонически улыбающийся, все лучше знающий, седой старик с лицом силен!*** Пора запретить ему это ремесло. Ты думаешь, что

* Гермы — придорожные столбы с изображением Гермеса, покровителя путешественников и бродяг. (Прим. ред.)

** См. прим. ред. к с. 48 II тома.

*** Этот эпизод передает Диоген Лаэртский (II, 49—50). (Прим. ред.)

можно спокойно предоставить старой лучине догореть до конца, она уже не зажжет много голов. Это возможно. Но как отразится на молодежи, если она увидит, что ее глава спокойно продолжает свое дело и с честью закончит свою жизнь? Дело было бы просто, если бы ареопаг обладал своими прежними правами; он бы прямо запретил ему общаться с юношеством. Теперь же нет иного выхода, как пригласить Сократа на суд присяжных. И как раз один из наших лучших людей, Анит,* бывший богатым хозяином мастерской, собирается подать на него жалобу. Как только это станет известным в портике царя-архонта, так старик сейчас же последует примеру Анаксагора и Протагора.** Разлука с ворчливой Ксантиппой не будет для него слишком тяжелой; он удалится и окончит свои дни в Коринфе, в Фивах или в ближних Мегарах, где у него должно оказаться немало преданных друзей. Во всяком случае, он может идти куда хочет. Как Анит не успокоился в борьбе с олигархами, пока вместе с Фрасибулом не одержал победы, так не оставит он и теперь своего дела.*** Он уже заручился честными помощниками: народным оратором Ликоном и поэтом Мелетом,**** который при этом случае приобретет больше славы, чем недавно своей «Эдиподией». Кто посоветовал ему состязаться с несравненным Софоклом или даже с Еврипидом, на которого он похож только своими приглаженными волосами, падающими на щеки, но ничем иным? Его ястребиный нос, скудная борода, худоба... Однако я заболтался, на ратуше уже развеивается флаг, я должен идти и занять свое место в совете, чтобы не потерять моей платы. Иначе из-за Сократа я еще, пожалуй, лишусь и своей драхмы».

Не все произошло так, как это предсказал наш честный член совета. Правда, Анит (Платон рисует его нам в «Меноне» как яркого ненавистника софистов) отчасти по собственной инициативе, отчасти поддерживаемый своими помощниками, выставил обвинение, которое гласило: «Сократ виновен, так как он не признает богов, признанных государством, и вводит другие демонические существа; он виновен также в том, что раз-

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

** Т. е. предстанет перед судом и подвергнется изгнанию.

*** См. прим. ред. к с. 86 II тома.

**** См. прим. и доб. Т. Гомперца.

вращает юношество. Предлагаемое наказание — смерть*.* Но обвиняемый, который не был подвергнут аресту, обманул ожидания друзей и врагов, и на суд явился.

2. Было весеннее утро 399 г. до Р. Х. Капли росы ярко, как всегда, блестели в венчиках анемон, фиалки распространяли свой нежный аромат. Но в этот день солнцу не суждено было дойти до своего зенита, прежде чем не свершилось роковое событие. В этот день суд не бездействовал. Рано поднялись многочисленные, большей частью несостоятельные и престарелые афиняне. Они спешили исполнить свою обязанность присяжных заседателей, к чему их уполномочивал тридцатилетний возраст, юридическая беспорочность и принесение присяги. Не зная, какие им предстоят дела, они, взяв свои судейские дощечки, отправились в здание, находящееся на рынке, где происходил выбор по жребию. Там они распределялись по различным судебным отделам и спешили еще в сумерках к своим местам; у каждого в руке была палка, цвет которой соответствовал цвету притолоки тех ворот, куда он должен был войти. Палки обменивались на марки, а впоследствии по этим маркам выдавалась дневная плата в три обола (полфранка).**

На долю пятисот одного из этих присяжных выпал знаменательный жребий! Когда решетчатая дверь за ними закрылась, они узнали, что им предстоит разрешить дело Мелета (официального обвинителя) против Сократа. Так как Сократ обвинялся в безбожии (asebie), то сам архонт-царь, избиравшийся на год по жребию, руководил предварительным следствием и теперь председательствовал. Присяжные распределились по рядам скамей, покрытых циновками, напротив них на двух соседних эстрадах поместились обвинители и обвиняемый. За решеткой стояли многочисленные слушатели. Здесь можно было заметить массивную голову двадцативосьмилетнего Платона рядом с его братом Адимантом, и тощего Критобула со своим отцом Критоном, и мрачного Аполлодора в сопровождении своего брата Эантодора. Где-нибудь виднелась, вероятно, красивая фигура Аристиппа, были, верно, и беотийцы, Симмий, Кебет и Федонд,

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

** См. прим. и доб. Т. Гомперца.

и юношески прекрасный Федон, и, наконец, Антисфент с его взъерошенными волосами.*

Для начала возожгли курительную жертву и герольд произнес молитву. Писец прочел обвинение и ответ на него. Тогда председательствующий предложил взойти на трибуну представителям обвинения. Первым говорил Мелет. Он указывал на свою патриотическую цель. Речь его не была лишена некоторого ораторского искусства, но успеха он не имел. Более действительны были речи Анита и Ликона. Первый отрицал всякое чувство ненависти по отношению к обвиняемому; он заявил, что был бы доволен, если бы обвиняемый не явился на суд и удалился из страны; но если он здесь, то не нужно его оправдывать, потому что это побудило бы учеников следовать его примеру. Об этих «учениках» и о том, что им ставилось в вину, было неоднократно упомянуто. Факты, на которых базировалось обвинение, нам неизвестны. После этого слово взял Сократ. Он говорил просто, безыскусственно и был часто прерываем Мелетом, раздраженным своим неуспехом. Речь его была импровизацией или, по крайней мере, должна была быть похожа на импровизацию. Она отличалась серьезностью, достоинством, остроумием, иронией, полнейшим хладнокровием и совершенно не взывала к снисходительности или сострадательности судей. По-видимому, она имела некоторый успех. Ибо после того как присяжные подошли к трибуне, чтобы опустить дощечки (похожие на дисковые волчки) в две приготовленные урны, то оказалось, что дисков с отверстием, оправдательных, было всего на тридцать меньше, чем обвинительных (в которых была вставлена палочка).**

Затем следовало решение вопроса о мере наказания. Против предложения обвинителя, в этом, как и в других сходных случаях, обвиняемый мог выставить свое предложение. Принятие последнего предложения было тем вероятнее, чем больше смирения обнаруживал обвиненный и чем выше была предлагаемая им пеня. В обоих пунктах Сократ обманул ожидания присяжных, расположенных в его пользу. Неохотно и только сдаваясь на просьбы своих друзей, готовых стать за него по-

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

** См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ручителями, он предложил уплатить скромную пеню в три тысячи драхм. Вместе с тем в сильных выражениях, к которым представители суверенного народа не привыкли, он протестовал против правильности состоявшегося приговора. Следствием этого было значительное увеличение первоначального большинства. Смертный приговор был решен не менее как триста шестидесятью голосами.

3. Из бессмертного изображения Платона мы пытались выделить то, в фактической истинности чего не существует и тени сомнения. «Апология» не есть протокольное сообщение. Описание суда в ней я назвал бы стилизованной правдой.* В одном случае, по крайней мере, это несомненно. По словам Платона, Сократ возвещает о предстоящем показании одного свидетеля в свою пользу. В дальнейшем, однако, ничего не говорится об осуществлении этого обещания. В сохранившихся аттических судебных речах, которые выводят также только одно говорящее лицо, свидетельское показание упоминается таким образом, что свидетеля приглашают дать показания, а затем слова «свидетельское показание» означают, что оно дается так же, как в других случаях чтение параграфа закона обозначается словом «закон». Платон поступает иначе. Здесь, как и в других случаях, он не хочет следовать шаблону; может быть, он хочет показать, что он не дает совершенно полного и точного изображения процесса. Но это одно обнаруженное противоречие между возвещением и осуществлением позволяет нам предполагать другие вольности и в других случаях. Таким образом, нам кажется очень маловероятным, что этот свидетель защиты, брат Херефонта, был единственным во всем процессе. И в самом деле, в первой речи Сократа есть место, подкрепляющее это предположение. В том месте, где Сократ предлагает Мелету призвать присутствующих в зале суда отцов и братьев его учеников в качестве свидетелей обвинения, что он забыл сделать раньше, он прибавляет, что уверен, что их свидетельства будут прямо противоположны ожиданиям обвинителя; они, наверное, все заступятся за него, будто бы развращавшего их родных. И на это заступничество он так определенно указывает, что невольно является предположение, что дело идет о реаль-

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

ном событии. Одним словом, мы предполагаем, что Платон воспользовался этим приемом вместо цитирования действительно имевших место показаний свидетелей защиты (по соображениям художественным или личным). Нам нужно, однако, ближе разобрать действительное содержание речей Сократа.

У нас нет ни малейшего основания считать недостоверным тон этих речей. То же самое можем мы сказать о духе, в котором ведется защита. С этой стороны отклонения от исторической истины нельзя считать художественно допустимыми, их нужно было бы признать неудачным и неуважительным приемом. И действительно, дух и задача защиты вполне согласуются со всем, что мы знаем об историческом Сократе. Разве можно было предполагать, что Сократ захочет во что бы то ни стало спасти свою жизнь? Но нам кажется столь же произвольным и утверждение, что он во чтобы то ни стало хотел умереть, из боязни ли старческой немощи или чтобы завершить мученической смертью свое земное поприще. Вероятнее, что для него жизнь имела ценность лишь при условии беспрепятственного продолжения своего своеобразного призвания.* В этом случае, как сообщает «Апология», он был готов даже заплатить пеню. Но от этого условия он не отступает ни на йоту; вне этого он не признает никакого компромисса, никакого молчаливого согласия. Конечно, при этом условии шансы на успех были невелики. Но незначительное большинство, которым был решен вопрос о виновности, указывает, что они не были равны нулю. Против такого понимания можно указать на одно обстоятельство, которое, по-видимому, не лишено основательности. Это вызывающий тон второй речи. «Я не признаю за собой никакой вины; я не только не заслужил наказания, но считаю себя достойным высшего отличия, которым располагает государство, — обедов в Пританее».** Осужденный, говорящий таким языком, скорее хочет угрожающей ему казни,

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

** Пританей — общинный дом, в котором пребывали и сообща обедали пританы — 50 членов совета, избираемые на один месяц для исполнения текущих обязанностей, но правом обедать в Пританее пользовались и наиболее почетные граждане Афин. (Прим. ред.)

нежели стремится ее избежать. Но надо обратить внимание на контекст, в котором сказана эта фраза. Она непосредственно предшествует его предложению меры наказания. Для того чтобы это предложение не наносило ущерба самосознанию Сократа, чтобы оно не умаляло его достоинства и не давало повода думать, что он предлагает молчаливый договор: отказ от смертной казни со стороны судей — отказ от своего призвания с его стороны — для этого его согласию на уплату пени нужно было противопоставить нечто такое, что настолько бы возвышалось над общим тоном его защиты, насколько это согласие спускалось ниже ее.

Нельзя не удивляться изумительному искусству его защитительных речей, несмотря на кажущееся отсутствие строгого плана. На саму суть обвинения, упрек в религиозной гетеродоксии он, очевидно, не дал удовлетворительного ответа. Но так как многое из того, в чем его обвиняли авторы комедий, в особенности Аристофан, Сократ мог с полным правом отрицать, указав на ошибочность этого, то оно и выдвигается на первый план, необоснованные обвинения остроумно объединяются в формулу, которая послужила основанием для действительного судебного обвинения. Но и формулу последнего обвинения можно было немного изменить. Сравнение с точным аутентическим текстом обвинения и прибавление слов «как бы» обнаруживают, что оно передается не с безусловной точностью. Это отсутствие точности позволяет выдвинуть вперед легче опровергаемую часть обвинения — развращение юношества. Отклонение обвинения в безбожии ведется согласно совету Гомера применять на войне мелкие отряды войск. Само обвинение помещается им в середине и окружается более действительными элементами защиты. Наиболее сильный аргумент защиты, находящийся в распоряжении обвиняемого, — ссылка на хорошее отношение к нему ближайших родственников якобы развращенных учеников — сберегается на самый конец. Также и теоретическое опровержение этого обвинения обнаруживает очень искусного адвоката. Мы говорим не о том ложном заключении (ложность которого ясна для нас, но не была ясна для Платона и Сократа), что никто не может желать намеренно сделать худшим того, с кем общается, ибо от этого он и сам пострадает. Если бы это было так, то не было бы школ воров,

де было бы отцов, научающих своих сыновей нечестным заработкам, не было бы матерей, приводящих дочерей к бесчестию. И в действительности польза, которую совратитель извлекает или надеется извлечь из своей развращающей деятельности, может превысить предполагаемый вред или оказать более сильное влияние на волю, да кроме того развращение может быть лишь частичным и не касаться отношения обеих сторон. Для Сократа и его последователей такое утверждение было в действительности постулатом более широкого положения, что никто намеренно не поступает несправедливо, и другого положения — о единстве всех добродетелей. Не это место, следовательно, обнаруживает нам его адвокатское искусство. Мы говорим о том месте, где Мелет, пользовавшийся расположением массы вообще и в зале суда в особенности, был постепенно приведен к нелепому признанию, что все афиняне, за исключением Сократа, знакомы с воспитанием детей и способны нравственно влиять на юношество.

Если и теперь мы удивляемся техническому искусству автора защиты, будь то Сократ или Платон, — то наше удивление возрастает, если мы, вместо того чтобы рассматривать отдельные места, охватываем взором целое. Было ли рассчитано действие этой речи на присяжных или на читателей — в обоих случаях целью было раскрыть значение Сократа тому кругу людей, который был совершенно не способен оценить его деятельность непосредственно. Нас крайне удивляет, что о Сократовых исследованиях понятий, которые по несомненному свидетельству Аристотеля составляли самое зерно всей его деятельности, совершенно ничего не говорится. Диалектика Сократа представляла две стороны, которые, употребляя терминологию Грота, можно назвать позитивной и негативной сторонами его философии. Для большой публики последняя была гораздо более знакома, чем первая. Ворчливым мистификатором и насмешником, сбивающим с толку собеседника, искусником речи, мастером в критике и в полемике — в таком малосимпатичном свете он является всему свету и в качестве такого приобрел себе бесчисленных врагов. Вот этот непопулярный образ спорщика «Апология» покрывала блеском религиозной миссии. Страстно преданный ему Херефонт (это сообщит с трибуны брат покойного) принес из Дельф изречение: «нет никого

мудрее Сократа». Это мнение бога, в резком противоречии с его сознанием собственного неведения, привело его в полное недоумение. Ведь Аполлон не может лгать; нужно, следовательно, доискаться до скрытного смысла его приговора. Он не мог отказаться от этой задачи и предпринял «роковой» для себя путь — испытание мудростью всех тех людей, которые славились ею — политиков, поэтов, ремесленников. Это предприятие вызвало ненависть к Сократу: настоящее обвинение есть его следствие. Сам он вывел из этого то поучение, что все, подобно ему, лишены истинной мудрости, но полны чуждого ему самомнения. Таким образом, ему открылся смысл дельфийского изречения. «Мудрость человеческая довольно жалка, — хотела сказать Пифия, — мудрее всего те, кто, подобно Сократу, сознают в себе этот недостаток мудрости». Разберемся в фактических основаниях этого рассказа. Здесь нужно строго различить две вещи: само дельфийское изречение и его значение в жизни Сократа. По нашему мнению, в исторической истинности его нет ни малейшего сомнения. Разве можно допустить, чтобы Платон выдумал такое свидетельское показание в близком по времени процессе для того, чтоб заставить поверить своих современников и потомков такому значительному факту? Но как ни несомненен этот факт сам по себе, его крайне трудно удовлетворительно объяснить. Как могли в Дельфах так ясно прозреть благотворное влияние речей Сократа и так высоко оценить их, чтобы желать оказать ему поддержку этим изречением? Может быть, он приобрел симпатии аристократически настроенных дельфийских жрецов своими насмешками над беспомощностью народных собраний, над несведущим демократическим управлением? Или такое отношение явилось благодарностью за глубокое почитание Аполлона и его святилища со стороны Сократа * в эпоху религиозного скептицизма? Этого мы никогда не узнаем. Одно мы знаем наверное, что применение этого изречения в «Апологии» исторически неверно. Оно будто бы было исходным пунктом всей общественной

* В качестве покровителя философии Аполлон выступает уже в изречениях Семи мудрецов. Как мыслитель, развивающий философский тезис «Познай себя», высказанный впервые мудрецами, Сократ оказывается прямым преемником и наследником начатков античного рационализма. (Прим. ред.)

деятельности Сократа. Но разве в Дельфах знали что-нибудь о нем, прежде чем он начал свою деятельность? Только этой деятельности он и обязан своей известностью; и очень трудно допустить, чтобы оракул решился высказать свое мнение о человеке, совершенно не известном в широких кругах. В то же время немыслимо, чтобы эта весть явилась побудительным мотивом его деятельности, так же как фактически неверно, чтобы его диалектика была исключительно направлена на указанную выше цель. Правда, этим не решается еще вопрос о том, кто с нами говорит здесь — Платон или Сократ. Перспектива может измениться и у того, кто смотрит на свое прошлое. Он может приписать значение и влияние такому событию, которых оно в действительности не имело. Но вероятнее предположить здесь определенное намерение Платона. Действие такого рассказа могло быть очень значительным. «Так вот чем объяснялись допросы Сократа! — мог воскликнуть простодушный читатель. — Там, где мы видели шутку и насмешку, оскорбительное самомнение, кичливое умничание, то было в действительности проявлением величайшей скромности, протестом против чрезмерной похвалы, а главное, благочестивым желанием понять и оправдать изречение божества!»

Еще решительнее будет наше суждение об изложении позитивной стороны Сократовой философии. Здесь в действительности происходит нечто странное. «Апология» попадает в противоречие сама с собой и с общим современным представлением о личности Сократа и, что самое важное, с ядром его учения, заверенным неоспоримым свидетельством. В то время как одна часть «Апологии» не только выдвигает на первый план испытание людей, вызванное дельфийским изречением, но прямо заполняет им всю жизнь Сократа, другая ее часть дает совершенно иную картину. Здесь Сократ выступает как увещатель и проповедник добродетели, который обращается ко всем, к чужеземцам и к соотечественникам, убеждая их подумать об их истинном спасении, не о почести и богатстве, но о добродетели и благополучии души. Все то, что мы знаем о его позитивном этическом учении, стоит в противоречии с этим образом. Учение о «знании добродетели» несовместимо с ним. Кто знает добро, тот и делает его. Для этого не надо увещания, одобрения, нужно лишь поучение и прояснение понятий. Таким образом, на ука-

занное изображение нельзя смотреть как на исторически верное. Правда, это не есть также произвольная выдумка. Недавно было замечено, что Платон на место «воспитательного» действия поставил «воспитательное» намерение.* Или, выражаясь проще, то, чего Платон заставляет Сократа достигать непосредственно и намеренно, то достигалось Сократом часто посредственно, намеренно и ненамеренно. Ибо обаяние его речей завлекало и противящихся, приковывало их интерес, уводило от внешних сторон жизни и приводило к занятиям высочайшими и глубочайшими вопросами. В действительности это происходило путем исследования понятий. Кто в приобретенном таким образом прояснении понятия и в сопровождающем его углублении виде — важный агент морального прогресса и вместе с этим желал это свое убеждение передать людям, не способным понять его, тот посредством внезапной метаморфозы мог превратить аналитика морали в ее проповедника. В этом случае Платон истину фактов приносит в жертву истинности впечатления. Он преподносит как бы замутненную истину, чтобы незамутненная истина в силу искажающего влияния ограниченного понимания не превратилась в грубую неправду. Прием его подобен приему оптика, который при устройстве подзорной трубы к одной чечевице присоединяет другую, действующую в ином направлении, чтобы уравновесить отклонение луча, вызываемое первой. И если здесь, как и там, действие перехватывает через край, то в этом виновато несовершенство всего человеческого.

4. Предыдущие соображения мешают нам признать, что «Апология» вполне верно передает речи, действительно произнесенные на суде. Наши средства недостаточны для полного отделения истины от поэзии. Но мы не должны забывать двух вещей. Ни один древний писатель не боялся изменять речи своих героев, приукрашивать их, приближать к тому, что ему казалось совершенством. Было бы чудом, если бы Платон, в государственной теории которого такую важную роль играет употребляемая в качестве лекарства «спасительная неправда»,** не применял ее в своей литературной деятельности и сдерживал поток своего красноречия. С другой стороны, для

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

** См. прим. и доб. Т. Гомперца.

него, как и для других учеников Сократа, его товарищей, наверное, могло бы показаться непочтительностью, если бы он совершенно отбросил действительно произнесенные Сократом речи и заменил их произведениями своего собственного творчества. Поэтому мы имеем основание говорить об истине и вымысле, и должны отказаться от возможности отделить одно от другого. Но с некоторой вероятностью мы можем предположить, что художественное строение в целом есть творение Платона; а вместе с тем можно думать, что самая краткая и наиболее тесно связанная с процессом вторая речь содержит всего больше подлинно сократовского.

Вся «Апология» в известном смысле действительно подлинно сократовская! Ибо те интеллектуальные и художественные стороны, которые мы только что разбирали, имеют сравнительно меньше значения, чем основной тон этого удивительного сочинения. Оно более сократовское, нежели платоновское. Соединение или внутреннее взаимное проникновение трезвости и энтузиазма, пренебрежение ко всему внешнему, вера в победоносную мощь разумного мышления, уверенность, что «хороший человек» защищен от всякого удара судьбы, просветленное доверие, с которым такой человек, не сбиваемый с пути ни страхом, ни надеждой, идет своей дорогой и выполняет свою задачу, — все это сделало «Апологию» светским молитвенником сильных и свободных умов, и теперь, как за двадцать три столетия раньше, она захватывает души и воспламеняет сердца. Она одна из самых мужественных книг мировой литературы и более чем какая-либо другая способна вселить в сердца добродетель мужественного самообладания. Трудно установить ее отношение к божественным вещам. Много в ней говорится о богах; но рабской покорности велениям божества, страха перед богами или *дейсидемонии* * какого бы то ни было рода она по существу так же чужда, как философская поэма Лукреция.** Божественные голоса, звучащие здесь, образуют хор,

* ἡ δεισιδαιμονία — богобоязненность, суеверный страх. (Прим. ред.)

** Лукреций Кар (ок. 46—55 гг. до н. э.) — римский последователь Эпикура, в своей философской поэме «О природе вещей» развивал идеи основателя школы о смертности души и невмешательстве богов в жизнь природы и человека. (Прим. ред.)

который не заглушает руководящего голоса сократовской личности и сократовской совести, а вторит ему. Своеобразие творчества особенно ярко обнаруживается в заключительной речи, с которой Сократ обращается к присяжным после произнесения приговора. В ней заранее можно было бы ждать влияние пера Платона: но Платон влил в нее истинно сократовский дух. Тут ставится вопрос о бессмертии, но совершенно не решается. Продолжается ли жизнь после смерти, или смерть подобна глубокому сну без сновидений, обе возможности упоминаются, но выбора между ними не делается. Но будет ли истина там или здесь, в обоих случаях смерть нельзя назвать злом. И этого еще мало. В том случае, когда предполагается, что жизнь души продлится после смерти, образ потустороннего мира рисуется лишенным всех ужасов и всех земных восторгов. Нет ни небесных наслаждений, ни адских мучений, так часто изображаемых Платоном. Ненарушимое спокойствие духа, сопровождавшее Сократа при жизни, осталось при нем и при его переходе в Аид. Он общается с полубожественными героями далекого прошлого как с равными себе. Он подвергает их обычному своему допросу и с юмором наслаждается поучительным разговором, а также радуется тому, что пользование свободой мысли не наказывается в Аиде смертной казнью. Весело идти к смерти — этому «Апология» учит и тех, кто не надеется вкушать радостей рая.

Пример Сократа подействовал, может быть, сильнее, чем его учение. Известно, что исполнение приговора было отложено до прибытия праздничного делосского корабля * и что осужденный употребил это время на обычные разговоры со своими учениками, а также занимался переложением на стихи эзоповых басен.** Ему казалось, что этим он следовал божественному велению, которое теперь, как и много раз раньше, он слышал в сновидениях. Оно требовало, чтобы он занимался музыкой (т. е. искусством). Может быть, и в этом мы должны видеть голос из глубины бессознательного, призывавший его стремиться к совершенству, дополняя недостатки своей природы (с. 80).

* Объяснение этого обычая см. у Платона в «Федоне» (58а—в). (Прим. ред.)

** См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Наконец, когда приблизился последний час, он отослал своих плачущих родных, утешал учеников, обратился с кроткими и ласковыми словами к тюремщику и спокойно осушил чашу с ядом. Едва ли нужно освежать в памяти эти картины, изображенные в платоновском «Федоне» неблекнущими красками.

5. Пока люди живут на земле, этот день суда останется незабвенным.* Никогда не замолкнет жалоба о первом мученике свободного исследования. Не о жертве ли также фанатической нетерпимости? В этом вопросе голоса разделяются. Одни клеймят этот приговор как самую отвратительную казнь невинного, как несмываемое пятно на афинянах. Другие, число которых меньше, берут сторону «законников» против «революционера» и ревниво подбирают все, что способно ослабить величие Сократа. По нашему убеждению, роковое событие отчасти объяснялось предрассудками и непониманием, но в значительно большей степени было следствием вполне обоснованного конфликта. Гегель, как нам кажется, дал правильное объяснение.** В этот день сразились два мирозерцания, можно почти сказать, две фазы человечества. Движение, начатое Сократом, было неизмеримым благом для будущего человечества; но ценность его для афинской современности была очень сомнительна. Праву общества самоутверждаться и противодействовать разрушительным тенденциям противостояло другое право — право сильной личности открывать новые пути и смело идти вперед вопреки обычаю и против государственной власти. В этом праве индивидуума сомневаются далеко не многие из тех, к кому обращены эти строки, большая же часть сомневается в праве государства. «Разве достойно нравственного и высокообразованного народа, — может возмущенно воскликнуть иной читатель, — нарушать свободу слова в такой грубой форме?» — «Свобода слова, — ответим мы, — принадлежит в силу своего благотельного влияния к числу драгоценнейших благ человечества, однако она никогда и нигде не была безграничной». В прошлом столетии она имела одного из самых горячих и просвещенных защитников в лице Д. С. Милля.*** И, однако, и этот пламен-

ный адвокат ее не мог не признать необходимости известной границы. «Никто не требует, — говорит он в одном месте своей прекрасной книги „О свободе“, — чтобы поступкам была предоставлена такая же свобода, как и мнениям. Наоборот. И выражение мнения теряет свою привилегию, лишь только... оно побуждает к злодейству. Например, мнение, что торговцы хлебом суть кровопийцы бедных или что собственность есть кража, не должно влечь за собой наказания, пока оно обсуждается прессой; но оно вполне может стать наказуемым, когда проповедуется устно разгоряченной толпе перед домом хлеботорговца или распространяется в этой толпе в виде прокламации». А как же быть, спросим мы, если содержание этой прокламации обнародовано в газете днем раньше? Как быть в том случае, если толпа еще не собралась, но сбор ее ожидается ежечасно? Всякому ясно, что эта граница меняется в зависимости от величины и близости угрожающей опасности, от силы и надежности средств защиты! В действительности ни одно общество не предоставит полной свободы, если его жизненные интересы поставлены на карту, будь оно даже вполне убеждено в важном значении свободного теоретического исследования. Нужно подумать о слабых сторонах древнего государства. Эти городские республики были очень малы и потому слабы, а кроме того, находились в постоянной опасности нападения соседей. И то, что само по себе было элементом силы — однородность населения, — могло стать при известных условиях элементом слабости. В наших больших и средних государствах революционные учения могут распространяться, не переходя в практику.* Значительная часть населения может быть захвачена этими доктринами, в то время как другая будет противостоять им и тем поддерживать равновесие. Укажем на противоречия между крестьянами и буржуа, между буржуа и пролетариями. Подобные противоречия в древних Афинах под влиянием великих государственных людей с течением времени потеряли свою остроту. Сельское население подчинилось городскому влиянию. Только в редких случаях пересмотра законов демы принимали до некоторой степени самостоятельное участие. Судьба Афин ежедневно решалась на Пниксе.

* Эта часть «Grichische Denker» была написана до начала социальных потрясений первых десятилетий XX в. (Прим. ред.)

Общеизвестная истина, что состояние государства и его учреждений в последнем счете зависит от отношения граждан к закону. В древности значение этой истины было еще буквальнее, если можно так выразиться. Всякое сотрясение устоев государства тотчас давало себя чувствовать. Всякий толчок из глубины беспрепятственно доходил до вершины общественного здания. Интересы государства не были защищены ни наследственной верховной властью, ни организованной военной силой или штатом должностных лиц. В Афинах не было ни княжеского рода, ни постоянной армии, ни бюрократии. Тем больше государство должно было основываться на верности своих граждан. Они делились, как всегда и повсюду, на огромное большинство ведомых и незначительное количество ведущих. К последним прежде всего относились те, которые умели ловко пользоваться словом. Это приобреталось или развивалось при посредстве диалектического и риторического упражнения. Таким образом, легко понять, что тот мастер диалектики, который в течение нескольких десятилетий оказывал сильное влияние на самых талантливых и честолюбивых юношей и который кроме того был одним из самых оригинальных мыслителей своего времени в области этики и политики, мог сделаться большой силой в государстве и стать источником его процветания или гибели.

Широкие круги общества считали влияние Сократа губительным, и многое содействовало укреплению этого мнения. Правда, можно видеть несчастную случайность в том, что Критий и Алкивиад, эти губители государства, став учениками Сократа, бросили тень и на личность своего учителя.* Ибо Ксенофонт был, по-видимому, прав, что целью общения Крития с Сократом было приобретение ловкости в политике и что в образовании характеров их обоих влияние на них Сократа было очень незначительно. Но вместе с тем вполне понятно, что в числе учеников Сократа было много таких, чья дальнейшая деятельность принесла значительный вред государству. Могло также показаться несчастной случайностью, что среди много поработавших на благо общества оказалось мало учеников Сократа. На это была более глубокая причина двойного свойства. Как

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

нашим читателям известно, Сократ не был сторонником существующего тогда демократического строя,* который не соответствовал его учению о верховной роли интеллекта. Среди обвинений, выставленных против Сократа (вероятно, Анитом, упоминаемым и в брошюре Поликрата, выпущенной через несколько лет после процесса), было и следующее: «Сократ внушал своим ученикам презрение к существующим законам».** На это обвинение Ксенофонт ничего по существу не возражает, он даже невольно подтверждает его, говоря, что Сократ не побуждал своих учеников к «насильственной» перемене конституции. Но еще важнее другое. Друзья Сократа не только не любили политического строя своего отечества, они были чужды и самой своей родине. В этом отношении Ксенофонт своей жизнью дал больше материала против своего учителя, чем привел доводов в его защиту в своем сочинении. И как Ксенофонт в Персии и Спарте, так Платон в Сиракузах чувствовал себя больше дома, чем в своем родном городе. Антистен и Аристипп намеренно избегали общественной жизни, и в школе первого провозглашался и стал главным принципом «космополитизм». Никто не сомневается в том, что и здесь ученики шли по стопам учителя.

Уклонение от служения обществу высокоодаренного человека вызывало общее удивление. Платон в «Апологии» влагает в уста Сократу в свое оправдание следующие странные слова: «Кто хочет действительно бороться с несправедливостью, место того в частной жизни, а не в общественной». Этот взгляд обосновывается указанием на якобы бесполезность всех таких попыток, на непоправимость государственного строя, на неисправимость толпы. Ибо таков смысл его слов, когда Сократ утверждает, что он не мог бы долго прожить, если бы деятельно участвовал в общественных делах, так как постоянно должен был бы рисковать своей жизнью в борьбе с народом, не принося ему, однако, никакой пользы. И это говорится о том народе, который выставлялся Периклом в его надгробной речи за об-

* Это утверждение нам кажется проблематичным, поскольку самоотстранение Сократа от политической жизни еще не означает неприятия им, как законного, государственного строя, которому он и вверил свою судьбу во время суда. (Прим. ред.)

** См. прим. и доб. Т. Гомперца.

разец, о народе, который не склонялся после поражений, просветлялся от горестных переживаний и не мог, казалось бы, считаться негодным материалом в руках преданных и мудрах устроителей! Наиболее способный и благородный народ остается покинутым своими лучшими сынами, они холодно отходят от него и объявляют напрасными все старания, направленные к его воспитанию. Но постараемся понять, в чем тут дело. Что у Сократа и у его учеников не было настоящей глубокой любви к их родине — это неоспоримо. Но не потому, как говорила мисс Френсис Райт Бентаму (хотя и в ином смысле), что он был «ледяной сосулькой», а потому, что его сердце было полным иным, новым идеалом.* «Разумность» не есть привилегия одних афинян, «благоразумие» — не только спартанская добродетель, «храбрость» — не исключительное свойство коринтян. Где обо всем судилось с точки зрения разума, где не принималось ничего традиционного, но все получало свою санкцию от рефлексии, там и патриотизм, ограниченный пространством нескольких квадратных миль, не мог сохранить своей прежней силы. Равнодушие к тому «уголку земли, в который судьба забросила его тело», могло возникнуть там, где занятие общечеловеческим отодвигало на второй план все остальное. Если даже приписываемое Сократу изречение, которое мы заимствуем у Эпиктета,** и апокрифично, это не меняет дела. Уделом философии было то, что она с самого начала действовала разрушительно на национальное непонимание и национальный уклад. Наши читатели помнят того много странствовавшего, глубокомысленного музыканта, резкая критика которого внесла разрыв в греческую жизнь. В ту эпоху, до которой дошло наше историческое изложение, это противоречие философской критики и национальных идеалов обнаружилось ярче и глубже. Прежняя узорность, прежняя доверчивость, прежний уют и уютливость эллинской жизни, по-видимому, исчезают под влиянием философии. Вслед за моралью рассудка наступает культ мирового гражданства. Вслед за ними возникает мировое государство, а затем и мировая религия.

* См. прим. и доб. Т. Гомперца. И. Бентам (1748—1832) — английский мыслитель, родоначальник утилитаризма. (Прим. ред.)

** См. прим. и доб. Т. Гомперца.

Мы не хотим сказать, чтобы Анит, Ликон и Мелет смотрели так далеко в будущее весной 399 г. Но если они не поняли отношения Сократа и его учеников к отечеству и его конституции, если в исследованиях разума и понятий они увидели опасность для национальной религии и для всей национальной сущности и если поэтому в самую критическую эпоху истории им казалось нужным заставить замолчать провозвестника нового направления, то это не должно нас ни удивлять, ни служить доказательством их особой злости или ограниченности. Они хотели лишь заставить его замолчать, ни больше, ни меньше. В нашем современном обществе гораздо легче было бы достигнуть этой цели. Лишение профессуры, дисциплинарное расследование или — в менее свободомыслящих государствах — полицейский запрет, административная высылка — всякое такое средство достигло бы цели. Но иначе было в древних Афинах. Таких путей там не было; к цели вел только один путь судебного процесса. И единственная возможность, которую давал закон, было обвинение в безбожии. Консервативный дух афинской демократии сделал то, что жестокость древнего обычая, который наказывал безбожие смертью, не была принципиально устранена, но смягчалась более терпимой практикой. Мы узнаем это из уст тех, которым не было никакого интереса представлять это дело в неверном свете и которые предпочли бы возложить всю ответственность за роковой исход на обвинителей и судей; мы узнаем от Платона и Ксенофонта, что всецело во власти Сократа было избежать смертного приговора. Ему предоставлялась возможность не явиться на суд — он явился. Ему предоставлялась возможность предложить суду наказать себя изгнанием с полной вероятностью на успех. Наконец, он мог избежать смертной казни, если бы сделал то, что обыкновенно делали все осужденные, если бы смиренно обратился к милосердию судей. Наконец, даже после того как приговор был произнесен, ему было легко убежать из-под ареста. Как мы узнаем из Платонова «Критона», все приготовления были сделаны с этой целью.* Но Сократ был особенной личностью. Он был одним из тех, которые призваны направить чувства и мышление людей на новые пути. Всякая сделка была ему

* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

противна. Его решение было непоколебимо: он хотел или продолжать учить, или перестать жить.

Все, что было рассказано позже о раскаянии афинян,* о постановке статуи Сократа и о наказании обвинителей, все это давно признано пустой басней, в особенности в силу хронологической невозможности, связанной с этим сообщением. В действительности казнь Сократа породила лишь литературную полемику. На брошюре Поликрата с изложением пунктов обвинения отвечал талантливый составитель речей Лисий. Процесс этот стал темой упражнений в риторике до позднейшей эпохи, от которой у нас и сохранился один образец (Апология Либания).** Но преобладающее мнение афинского народа определенно явствует из тех слов, которые полстолетия позже сказал государственный деятель и оратор Эсхин перед народным собранием в своей речи против Тимарха: «Затем, афиняне, вы ведь умертвили Сократа, софиста, потому что оказалось, что он воспитал Крития, одного из тридцати разрушителей демократии»***

Мертвый Сократ воскрес не только в школах, но и в сочинениях своих учеников, которые заставляли выступать своего учителя и на рынке, и в школах гимнастики, приводя его в общение со старым и малым, как он это делал и при жизни. Таким образом он действительно продолжал поучать, уже перестав жить! Мы должны теперь обратить наши взоры на пеструю толпу сократиков. Мы начнем с того, кто представляет для нас интерес не как мыслитель, а главным образом как свидетель и источник наших сведений о Сократе, с Ксенофонта.



* См. прим. и доб. Т. Гомперца.

** Аполоний Либаний (313—393 гг. н. э.) — знаменитый греческий ритор из Антиохии Сирийской. (Прим. ред.)

*** См. прим. и доб. Т. Гомперца.